Весь Станюкович

Повести и рассказы

«Человек за бортом»

I

Жара тропического дня начинала спадать. Солнце медленно катилось к горизонту.

Подгоняемый нежным пассатом, клипер нес всю парусину и бесшумно скользил по Атлантическому океану, узлов по семи. Пусто кругом: ни паруса, ни дымка на горизонте! Куда ни взглянешь, все та же безбрежная водяная равнина, слегка волнующаяся и рокочущая каким-то таинственным гулом, окаймленная со всех сторон прозрачной синевой безоблачного купола. Воздух мягок и прозрачен; от океана несет здоровым морским запахом.

Пусто кругом.

Изредка разве блеснет под лучами солнца яркой чешуйкой, словно золотом, перепрыгивающая летучая рыбка, высоко в воздухе прореет белый альбатрос, торопливо пронесется над водой маленькая петрель, спешащая к далекому африканскому берегу, раздастся шум водяной

струи, выпускаемой китом, и опять ни одного живого существа вокруг. Океан да небо, небо да океан — оба спокойные, ласковые, улыбающиеся.

— Дозвольте, ваше благородие, песенникам песни петь? — спросил вахтенный унтер-офицер, подходя к офицеру, лениво шагающему по мостику.

Офицер утвердительно махнул головой, и через минуту стройные звуки деревенской песни, полной шири и грусти, разнеслись среди океана.

Довольные, что после дневной истомы наступила прохлада, матросы толпятся на баке, слушая песенников, собравшихся у баковой пушки. Завзятые любители, особенно из старых матросов, обступив певцов тесным кружком, слушают сосредоточенно и серьезно, и на многих загорелых, обветрившихся лицах светится безмолвный восторг. Подавшийся вперед широкоплечий, сутулый старик Лаврентьич, «основательный» матрос из «баковщины», с жилистыми, просмоленными руками, без пальца на одной руке, давно оторванного марса-фалом, и цепкими, слегка вывернутыми ногами, — отчаянный пьяница, которого с берега привозят всегда в бесчувствии и с разбитой физиономией (он любит лезть в драку с иностранными матросами за то, что они, по его мнению, «не пьют настояще, а только куражатся», разбавляя водой крепчайший ром, который он дует гольем), — этот самый Лаврентьич, слушая песни,

словно замер в какой-то истоме, и его морщинистое лицо с красно-сизым, как слива, носом и щетинистыми усами — обыкновенно сердитое, точно Лаврентьич чем-то недоволен и сейчас выпустит фонтан ругани, — смотрит теперь необыкновенно кротко, смягченное выражением тихой задумчивости. Некоторые матросы тихонько подтягивают; другие, рассевшись по кучкам, вполголоса разговаривают, выражая по временам одобрение то улыбкой, то восклицанием.

И в самом деле, хорошо поют наши песенники! Голоса в хоре подобрались всё молодые, свежие и чистые и спелись отлично. Особенно приводил всех в восторг превосходный бархатный тенорок подголоска Шутикова. Этот голос выделялся среди хора своей красотой, забираясь в самую душу чарующей искренностью и теплотой выражения.

— За самое нутро хватает, подлец, — говорили про подголоска матросы.

Песня лилась за песнью, напоминая матросам, среди тепла и блеска тропиков, далекую родину с ее снегами и морозами, полями, лесами и черными избами, с ее близкими сердцу бездольем и убожеством…

— Вали плясовую, ребята!

Хор грянул веселую плясовую. Тенорок Шутикова так и заливался, так и звенел теперь

удальством и весельем, вызывая невольную улыбку на лицах и заставляя даже солидных матросов поводить плечами и притопывать ногами.

Макарка, маленький, бойкий молодой матросик, давно уже чувствовавший зуд в своем поджаром, словно в себя подобранном теле, не выдержал и пошел отхватывать трепака под звуки залихватской песни, к общему удовольствию зрителей.

Наконец пение и пляска кончились. Когда Шутиков, сухощавый, стройный чернявый матрос, вышел из круга и пошел курить к кадке, его провожали одобрительными замечаниями.

— И хорошо же ты поешь, ах хорошо, пес тебя ешь! — заметил растроганный Лаврентьич, покачивая головой и прибавляя в знак одобрения непечатное ругательство.

— Ему бы подучиться, да ежели, примерно, генерал-бас понять, так хучь в оперу! — с апломбом вставил молодой наш писарь из кантонистов, Пуговкин, щеголявший хорошим обращением и изысканными выражениями.

Лаврентьич, не терпевший и презиравший «чиновников» [1], как людей, по его мнению, совершенно бесполезных на судне, и считавший как

---

[1] «Чиновниками» матросы называют всех нестроевых: писарей, фельдшера, баталера, подшкипера. — Прим. автора.

бы долгом чести при всяком случае обрывать их, насупился, бросил сердитый взгляд на белокурого, полнотелого, смазливого писарька и сказал:

— Ты-то у нас опера!.. Брюхо отрастил от лодырства, и вышла опера!..

Среди матросов раздалось хихиканье.

— Да вы понимаете ли, что такое обозначает опера? — заметил сконфуженный писарек… — Эх, необразованный народ! — тихо проговорил он и благоразумно поспешил скрыться.

— Ишь какая образованная мамзеля! — презрительно пустил ему вслед Лаврентьич и прибавил, по своему обыкновению, забористую ругань, но уже без ласкового выражения…

— То-то я и говорю, — начал он, помолчав и обращаясь к Шутикову, — важно ты поешь песни, Егорка…

— Уж что и толковать. Он у нас на все руки. Одно слово… молодца Егорка!.. — заметил кто-то.

В ответ на одобрения Шутиков только улыбался, скаля белые ровные зубы из-под добродушных пухлых губ.

И эта довольная улыбка, ясная и светлая, как у детей, стоявшая в мягких чертах молодого, свежего лица, подернутого краской загара, и эти большие темные глаза, кроткие и ласковые, как у щенка, и аккуратная, подобранная, сухощавая фигура, крепкая, мускулистая и гибкая, не лишенная,

однако, крестьянской мешковатой складки, — все в нем притягивало и располагало к себе с первого же раза, как и чудный его голос. И Шутиков пользовался общей приязнью. Все любили его, и он всех, казалось, любил.

Это была одна из тех редких, счастливых, жизнерадостных натур, при виде которых невольно делается светлее и радостнее на душе. Такие люди какие-то прирожденные философы-оптимисты. Его веселый, сердечный смех часто раздавался на клипере. Бывало, он что-нибудь рассказывает и первый же заразительно, вкусно смеется. Глядя на него, и другие невольно смеялись, хотя бы в рассказе Шутикова иногда и не было ничего особенно смешного. Оттачивая какой-нибудь блочок, отскабливая краску на шлюпке или коротая ночную вахту, примостившись на марсе, за ветром, Шутиков обыкновенно тихо подпевал какую-нибудь песенку, а сам улыбался своей хорошей улыбкой, и всем было как-то весело и уютно с ним. Редко когда видели Шутикова сердитым или печальным. Веселое настроение не покидало его и тогда, когда другие готовы были упасть духом, и в такие минуты Шутиков был незаменим.

Помню я, как однажды мы штормовали. Ветер ревел жестокий, кругом бушевала буря, и клипер, под штормовыми парусами, бросало, как щепку, на

океанском волнении, готовом, казалось, поглотить в своих седых гребнях утлое суденышко. Клипер вздрагивал и жалобно стонал всеми членами, сливая свои жалобы со свистом ветра, завывающего в надувшихся снастях. Даже старики матросы, видавшие всякие виды, угрюмо молчали, пытливо посматривая на мостик, где словно приросла к поручням высокая, закутанная в дождевик фигура капитана, зорко взглядывавшего на беснующуюся бурю.

А Шутиков в это время, придерживаясь одною рукою за снасти, чтоб не упасть, занимал небольшую кучку молодых матросов, с испуганными лицами прижавшихся к мачте, посторонними разговорами. Он так спокойно и просто «лясничал», рассказывая про какой-то забавный деревенский случай, и так добродушно смеялся, когда долетавшие брызги волн попадали ему в лицо, что это спокойное настроение невольно передавалось другим и ободряло молодых матросов, отгоняя всякую мысль об опасности.

— И где это ты, дьявол, насобачился так ловко горло драть? — снова заговорил Лаврентьич, подсасывая носогрейку с махоркой… — Пел у нас на «Костенкине» один матросик, надо правду сказать, что форменно, шельма, пел… да все не так забористо.

— Так, самоучкой, в пастухах когда жил.

Бывало, стадо разбредется по лесу, а сам лежишь под березкой и песни играешь… Меня так в деревне и прозывали: певчий пастух! — прибавил Шутиков улыбаясь.

И все почему-то улыбнулись в ответ, а Лаврентьич, кроме того, трепанул Шутикова по спине и, в виде особого расположения, выругался в самом нежном тоне, на который только был способен его испитой голос.

II

В эту минуту, расталкивая матросов, в круг торопливо вошел только что выскочивший из палубы плотный пожилой матрос Игнатов.

Бледный и растерянный, с непокрытой, коротко остриженной круглой головой, он сообщил прерывистым от злобы и волнения голосом, что у него украли золотой.

— Двадцать франоков! Двадцать франоков, братцы! — жалобно повторял он, подчеркивая цифру.

Это известие смутило всех. Такие дела бывали редкостью на клипере.

Старики нахмурились. Молодые матросы, недовольные, что Игнатов внезапно нарушил веселое настроение, более с испуганным любопытством, чем с сочувствием, слушали, как он,

задыхаясь и отчаянно размахивая своими опрятными руками, спешил рассказать про все обстоятельства, сопровождавшие покражу: как он, еще сегодня, после обеда, когда команда отдыхала, ходил в свой сундучишко, и все было, слава богу, целехонько, все на своем месте, и как вот сейчас он пошел было за сапожным товаром — и… замок, братцы, сломан… двадцати франоков нет…

— Это как же? Своего же брата обкрадывать? — закончил Игнатов, обводя толпу блуждающим взглядом.

Его гладкое, сытое, чисто выбритое, покрытое крупными веснушками лицо с небольшими круглыми глазами и острым, словно у ястреба, загнутым носом, отличавшееся всегда спокойной сдержанностью и довольным степенным видом неглупого человека, понимающего себе цену, теперь было искажено отчаянием скряги, который потерял все имущество. Нижняя челюсть вздрагивала; круглые его глаза растерянно перебегали по лицам. Видно было, что покража совсем его расстроила, обнаружив его кулацкую скаредную натуру.

Недаром же Игнатов, которого некоторые матросы уж начинали почетно величать «Семенычем», был прижимистым и жадным к деньгам человеком. Он и в кругосветное плавание пошел, вызвавшись охотником и оставив в

Кронштадте жену — торговку на базаре — и двоих детей, с единственной целью прикопить в плавании деньжонок и, выйдя в отставку, заняться в Кронштадте по малости торговлей. Он вед крайне воздержную жизнь, вина не пил, на берегу денег не тратил. Он копил деньги, копил их упорно, по грошам, знал, где можно выгодно менять золото и серебро, и, под большим секретом, давал мелкие суммы взаймы за проценты надежным людям. Вообще Игнатов был человек оборотистый и рассчитывал сделать хорошее дело, привезя в Россию для продажи сигар и кое-какие японские и китайские вещи. Он и раньше уж занимался такими делишками, когда плавал по летам в Финском заливе: в Ревеле, бывало, закупит килек, в Гельсингфорсе сигар и мамуровки и с выгодой перепродаст в Кронштадте.

Игнатов был рулевым, служил исправно, стараясь ладить со всеми, дружил с баталером и подшкипером, был грамотен и тщательно скрывал, что у него водятся деньжонки, и притом для матроса порядочные.

— Это беспременно подлец Прошка, никто, как он! — закипая гневом, взволнованно продолжал Игнатов. — Даве он все вертелся в палубе, когда я ходил в сундук… Что ж теперь с этим подлецом делать, братцы? — спрашивал он, обращаясь преимущественно к старикам и как бы ища их

поддержки. — Неужто я так и решусь денег?.. Ведь деньги-то у меня кровные… Сами знаете, братцы, какие у матроса деньги… По грошам сбирал… чарки своей не пью… — прибавил он униженным, жалобным тоном.

Хотя никаких других улик, кроме того, что Прошка «даве вертелся в палубе», не было, тем не менее и сам потерпевший и слушатели не сомневались, что украл деньги именно Прошка Житин, не раз уже попадавшийся в мелких кражах у товарищей. Ни один голос не раздался в его защиту. Напротив, многие возмущенные матросы осыпали предполагаемого вора бранью.

— Эдакий мерзавец… Только срамит матросское звание… — с сердцем сказал Лаврентьич.

— Д-да… Завелась и у нас паршивая собака…

— Надо его теперь проучить, чтобы помнил, лодырь беспутный!

— Так как же, братцы? — продолжал Игнатов… — Что с Прошкой делать?.. Ежели не отдаст он добром, я попрошу доложить старшему офицеру. Пусть по форме разберут.

Но эта приятная Игнатову мысль не нашла на баке поддержки. На баке был свой особенный, неписаный устав, строгими охранителями которого, как древле жрецы, были старые матросы.

И Лаврентьич первый энергично

запротестовал.

— Это, выходит, с лепортом по начальству? — презрительно протянул он. — Кляузы заводить? Забыл, видно, с перепугу матросскую правилу? Эх вы… народ! — И Лаврентьич для облегчения помянул «народ» своим обычным словом. — Тоже выдумал, а еще матросом считаешься! — прибавил он, бросая на Игнатова не особенно дружелюбный взгляд.

— По-вашему, как же?

— А по-нашему так же, как прежде учивали. Избей ты собачьего сына Прошку вдрызг, чтобы помнил, да отыми деньги. Вот как по-нашему.

— Мало ли его, подлеца, били! А ежели он не отдаст?.. Так, значит, и пропадать деньгам? Это за что же? Пусть уж лучше форменно засудят вора… Такую собаку нечего жалеть, братцы.

— Жаден ты к деньгам уж очень, Игнатов… Небось Прошка не все украл… Еще малость осталась? — иронически промолвил Лаврентьич.

— Считал ты, что ли!

— То-то не считал, а только не матросское это дело — кляузы. Не годится! — авторитетно заметил Лаврентьич. — Верно ли я говорю, ребята?

И все почти «ребята», к неудовольствию Игнатова, подтвердили, что кляузы заводить «не годится».

— А теперь веди сюда Прошку! Допроси его

при ребятах! — решил Лаврентьич.

И Игнатов, злой и недовольный, подчинился, однако, общему решению и пошел за Прошкой.

В ожидании его матросы теснее сомкнули круг.

III

Прохор Житин, или, как все пренебрежительно называли его, Прошка, был самым последним матросом. Попавший в матросы из дворовых, отчаянный трус, которого только угроза порки могла заставить подняться на марс, где он испытывал неодолимый физический страх, лентяй и лодырь, отлынивавший от работы, и ко всему этому нечистый на руку, Прошка с самого начала плавания стал в положение какого-то отверженного пария. Все им помыкали; боцмана и унтер-офицеры походя, и за дело, и так, здорово живешь, ругали и били Прошку, приговаривая: «У, лодырь!» И он никогда не протестовал, а с какой-то привычной тупой покорностью забитого животного переносил побои. После нескольких мелких краж, в которых он был уличен, с ним почти не разговаривали и обращались с пренебрежением. Всякий, кому не лень, мог безнаказанно обругать его, ударить, послать куда-нибудь, поглумиться над ним, словно бы иное отношение к Прошке было немыслимо. И Прошка так, казалось, привык к

этому положению загнанной, паршивой собаки, что и не ждал иного обращения и переносил всю каторжную жизнь, по-видимому, без особенной тягости, вознаграждая себя на клипере сытной едой да дрессировкой поросенка, которого Прошка учил делать разные штуки, а при съездах на берег — выпивкой и ухаживаньем за прекрасным полом, до которого он был большой охотник; на женщин он тратил последний грош и ради них, кажется, таскал деньги у товарищей, несмотря на суровое возмездие, получаемое им в случае поимки. Он был вечный «гальюнщик» — другой должности ему не было, и состоял в числе шканечных, исполняя обязанность рабочей силы, не требовавшей никаких способностей. И тут ему доставалось, так как он всегда лениво тянул вместе с другими какую-нибудь снасть, делая только вид, как ленивая лукавая лошадь, будто взаправду тянет.

— У-у… подлый лодырь! — ругал его шканечный унтер-офицер, обещая ему ужо начистить зубы.

И, разумеется, «чистил».

IV

Забравшись под баркас, Прошка сладко спал, бессмысленно улыбаясь во сне. Сильный удар ноги разбудил его. Он хотел было залезть подальше от

этой непрошеной ноги, как новый пинок дал понять Прошке, что он зачем-то нужен и что надо вылезать из укромного местечка. Он выполз, поднялся на ноги и глядел на злое лицо Игнатова тупым взором, словно бы ожидая, что его еще будут бить.

— Ступай за мной! — проговорил Игнатов, едва сдерживаясь от желания тут же истерзать Прошку.

Прошка покорно, словно виноватая собака, пошел за Игнатовым своей медленной, ленивой походкой, переваливаясь, как утка, со стороны на сторону.

Это был человек лет за тридцать, мягкотелый, неуклюжий, плохо сложенный, с несоразмерным туловищем на коротких кривых ногах, какие бывают у портных. (До службы он и был портным в помещичьей усадьбе.) Его одутловатое, землистого цвета лицо с широким плоским носом и большими оттопырившимися ушами, торчащими из-под шапки, было невзрачно и изношенно. Небольшие тусклые серые глаза глядели из-под светлых редких бровей с выражением покорного равнодушия, какое бывает у забитых людей, но в то же время в них как будто чувствовалось что-то лукавое. Во всей его неуклюжей фигуре незаметно было и следа матросской выправки; все на нем сидело мешковато и неряшливо, — словом, Прошкина фигура была совсем нерасполагающая.

Когда, вслед за Игнатовым, Прошка вошел в круг, все разговоры смолкли. Матросы теснее сомкнулись, и взоры всех устремились на вора.

Для начала допроса Игнатов первым делом со всего размаха ударил Прошку по лицу.

Удар был неожиданный. Прошка слегка пошатнулся и безответно снес затрещину. Только лицо его сделалось еще тупее и испуганнее.

— Ты сперва толком пытай, а накласть в кису успеешь! — сердито промолвил Лаврентьич.

— Это ему в задаток, подлецу! — заметил Игнатов и, обратившись к Прошке, сказал: — Признавайся, сволочь, ты у меня золотой из сундука украл?

При этих словах тупое Прошкино лицо мгновенно осветилось осмысленным выражением. Он понял, казалось, всю тяжесть обвинения, бросил испуганный взгляд на сосредоточенно-серьезные, недоброжелательные лица и вдруг побледнел и как-то весь съежился. Тупой страх исказил его черты.

Эта внезапная перемена еще более утвердила всех в мысли, что деньги украл Прошка.

Прошка молчал, потупив глаза.

— Где деньги? Куда ты их спрятал? Сказывай! — продолжал допросчик.

— Я денег твоих не брал! — тихо отвечал Прошка.

Игнатов пришел в ярость.

— Ой, смотри… до смерти изобью, коли ты добром не отдашь денег!.. — сказал Игнатов и сказал так злобно и серьезно, что Прошка подался назад.

И со всех сторон раздались неприязненные голоса:

— Повинись лучше, скотина!

— Не запирайся, Прошка!

— Лучше добром отдай!

Прошка видел, что все против него. Он поднял голову, снял шапку и, обращаясь к толпе, воскликнул с безнадежным отчаянием человека, хватающегося за соломинку:

— Братцы! Как перед истинным богом! Хучь под присягу сичас! Разрази меня на месте!.. Делайте со мной, что вгодно, а я денег не брал!

Прошкины слова, казалось, поколебали некоторых.

Но Игнатов не дал усилиться впечатлению и торопливо заговорил:

— Не ври, подлая тварь… Бога-то оставь! Ты и тогда запирался, когда у Кузьмина из кармана франок вытащил… помнишь? А как у Левонтьева рубаху украл, тоже шел под присягу, а? Тебе, бесстыжему, присягнуть, что плюнуть…

Прошка снова опустил голову.

— Винись, говорят тебе, скорее. Сказывай,

где мои деньги? Нешто я не видел, как ты около вертелся… Сказывай, бессовестный, зачем ты в палубе шнырял, когда все отдыхали? — наступал допросчик.

— Так ходил…

— Так ходил?! Эй, Прошка, не доводи до греха. Признавайся.

Но Прошка молчал.

Тогда Игнатов, словно бы желая испробовать последнее средство, вдруг сразу изменил тон. Теперь он не угрожал, а просил Прошку отдать деньги ласковым, почти заискивающим тоном.

— Тебе ничего не будет… слышишь?.. Отдай только мои деньги… Тебе ведь пропить, а у меня семейство… Отдай же! — почти молил Игнатов.

— Обыщите меня… Не брал я твоих денег!

— Так ты не брал, подлая душа? Не брал? — воскликнул Игнатов с побелевшим от злобы лицом. — Не брал?!

И с этими словами он, как ястреб, налетел на Прошку.

Бледный, вздрагивающий всем съежившимся телом, Прошка зажмурил глаза и старался скрыть от ударов голову.

Матросы молча хмурились, глядя на эту безобразную сцену. А Игнатов, возбужденный безответностью жертвы, свирепел все более и более.

— Полно… Будет… будет! — раздался вдруг из толпы голос Шутикова.

И этот мягкий просящий голос точно сразу пробудил человеческие чувства и у других.

Многие из толпы, вслед за Шутиковым, сердито крикнули:

— Будет… будет!

— Ты прежде обыщи Прошку и тогда учи!

Игнатов оставил Прошку и, злобно вздрагивая, отошел в сторону. Прошка юркнул вон из круга. Несколько мгновений все молчали.

— Ишь ведь, какой подлец… запирается! — переводя дух, проговорил Игнатов. — Ужо погоди, как я его на берегу разделаю, коли не отдаст деньги! — грозился Игнатов.

— А может, это и не он! — вдруг тихо сказал Шутиков.

И та же мысль, казалось, сказывалась на некоторых напряженно-серьезных, насупившихся лицах.

— Не он? Впервые ему, что ли?.. Это беспременно его дело… Вор известный, чтоб ему…

И Игнатов, взяв двух человек, ушел обыскивать Прошкины вещи.

— И зол же человек на деньги! Ох, зол! — сердито проворчал Лаврентьич вслед Игнатову, покачивая головой. — А ты не воруй, не срами матросского звания! — вдруг прибавил он

неожиданно и выругался — на этот раз, по-видимому, с единственной целью: разрешить недоумение, ясно стоявшее на его лице.

— Так ты, Егор, думаешь, что это не Прошка? — спросил он после минутного молчания. — Кабысь больше некому.

Шутиков промолчал, и Лаврентьич больше не спрашивал и стал усиленно раскуривать свою короткую трубочку.

Толпа стала расходиться.

Через несколько минут на баке стало известно, что ни у Прошки, ни в его вещах денег не нашли.

— Запрятал, шельма, куда-нибудь! — решили многие и прибавляли, что теперь Прошке придется худо: Игнатов не простит ему этих денег.

V

Нежная тропическая ночь быстро спустилась над океаном.

Матросы спали на палубе — внизу было душно, — а на вахте стояло одно отделение. В тропиках, в полосе пассата, вахты спокойные, и вахтенные матросы, по обыкновению, коротают ночные часы, разгоняя дрему беседами и сказками.

В эту ночь, с полуночи до шести, на вахте довелось быть второму отделению, в котором были

Шутиков и Прошка.

Шутиков уж рассказал несколько сказок кучке матросов, усевшихся у фок-мачты, и отправился покурить. Выкуривши трубку, он пошел, осторожно ступая между спящими, на шканцы и, разглядев в темноте Прошку, одиноко притулившегося у борта и поклевывавшего носом, тихо окликнул его:

— Это ты… Прошка?

— Я! — встрепенулся Прошка.

— Что я тебе скажу, — продолжал Шутиков тихим ласковым голосом: — ведь Игнатов, сам знаешь, человек какой… Он тебя вовсе изобьет на берегу… безо всякой жалости…

Прошка насторожился… Этот тон был для него неожиданностью.

— Что ж, пусть бьет, а я евойных денег не касался! — ответил после короткого молчания Прошка.

— То-то он не верит и, пока не вернет своих денег, тебе не простит… И многие ребята сумневаются…

— Сказано: не брал! — повторил Прошка с прежним упорством.

— Я, братец, верю, что ты не брал… Слышь, верю, и пожалел, что тебя занапрасно давеча били и Игнатов еще грозит бить… А ты вот чего, Прошка: возьми ты у меня двадцать франоков и отдай их Игнатову… Бог с ним! Пусть радуется на деньги, а

мне когда-нибудь отдашь — приневоливать не стану… Так-то оно будет аккуратней… Да, слышь, никому про это не сказывай! — прибавил Шутиков.

Прошка был решительно озадачен и не находил в первую минуту слов. Если б Шутиков мог разглядеть Прошкино лицо, то увидал бы, что оно смущено и необыкновенно взволнованно. Еще бы! Прошку жалеют, и мало того, что жалеют, еще предлагают деньги, чтобы избавить его от битья. Это уж было слишком для человека, давно не слыхавшего ласкового слова.

Подавленный, чувствуя, как что-то подступает к горлу, молча стоял он, опустив голову.

— Так бери деньги! — сказал Шутиков, доставая из кармана штанов завернутый в тряпочку весь свой капитал.

— Это как же… Ах ты господи! — растерянно бормотал Прошка.

— Эка… глупый… Сказано: получай, не кобянься!

— Получай?! А, братец! Спасибо тебе, добрая твоя душа! — отвечал Прошка дрогнувшим от волнения голосом и вдруг решительно прибавил: — Только твоих денег, Шутиков, не нужно… Я все же чувствую и не хочу перед тобой быть подлецом… Не желаю… Я сам после вахты отдам Игнатову его золотой.

— Так, значит, ты…

— То-то я! — чуть слышно промолвил Прошка… — Никто бы и не дознался… Деньги-то в пушке запрятаны…

— Эх, Прохор, Прохор! — упрекнул только Шутиков грустным тоном, покачивая головой.

— Теперь пусть он меня бьет… Пусть всю скулу своротит. Сделай ваше одолжение! Бейте подлеца Прошку… жарь его, мерзавца, не жалей! — с каким-то ожесточенным одушевлением против собственной особы продолжал Прошка. — Все перенесу с моим удовольствием… По крайности знаю, что ты пожалел, поверил… Ласковое слово сказал Прошке… Ах ты господи! Вовек этого не забуду!

— Ишь ведь ты какой! — промолвил ласково Шутиков и присел на пушку.

Он помолчал и заговорил:

— Слушай, что я тебе скажу, братец ты мой: брось-ка ты все эти дела… право, брось, ну их!.. Живи, Прохор, как люди живут, по-хорошему… Стань форменным матросом, чтобы все, значит, как следует… Так-то душевней будет… А то разве самому тебе сладко?.. Я, Прохор, не в укор, а жалеючи!.. — прибавил Шутиков.

Прошка слушал эти слова и находился под их обаянием. Никто, во всю его жизнь, не говорил с ним так ласково и задушевно. До сей поры его только ругали да били — вот какое было ученье.

И теплое чувство благодарности и умиления охватило Прошкино сердце. Он хотел было выразить их словами, но слова не отыскивались.

Когда Шутиков отошел, пообещав уговорить Игнатова простить Прошку, Прошка не чувствовал уж себя таким ничтожеством, каким считал себя прежде. Долго еще стоял он, посматривая за борт, и раз или два смахнул навертывавшуюся слезу.

Утром, после смены, он принес Игнатову золотой. Обрадованный матрос алчно схватил деньги, зажал их в руке, дал Прошке в зубы и хотел было идти, но Прошка стоял перед ним и повторял:

— Бей еще… Бей, Семеныч! В морду в самую дуй!

Удивленный Прошкиной смелостью, Игнатов презрительно оглядел Прошку и проговорил:

— Я разделал бы тебя, мерзавца, начисто, кабы ты мне не отдал деньги, а теперь не стоит рук марать… Сгинь, сволочь, но только смотри… попробуй еще раз ко мне лазить… Искалечу! — внушительно прибавил Игнатов и, оттолкнув с дороги Прошку, побежал вниз прятать свои деньги.

Тем и ограничилась расправа.

Благодаря ходатайству Шутикова и боцман Щукин, узнавший о воровстве и собиравшийся «после убирки искровянить стервеца», вместо того довольно милостиво, относительно говоря, потрепал, как он выражался, «Прошкино хайло».

— Испужался Прошка Семеныча-то! Предоставил деньги, а ведь как запирался, шельма! — говорили матросы во время утренней чистки.

VI

С той памятной ночи Прошка беззаветно привязался к Шутикову и был предан ему, как верная собака. Выражать свою привязанность открыто, при всех, он, разумеется, не решался, чувствуя, вероятно, что дружба такого отверженца унизит Шутикова в чужих глазах. Он никогда не заговаривал с Шутиковым при других, но часто взглядывал на него, как на какое-то особенное существо, перед которым он, Прошка, последняя дрянь. И он гордился своим покровителем, принимая близко к сердцу все, до него касающееся. Он любовался, поглядывая снизу, как Шутиков лихо управляется на рее, замирал от удовольствия, слушая его пение, и вообще находил необыкновенно хорошим все, что ни делал Шутиков. Иногда днем, но чаще во время ночных вахт, заметив Шутикова одного, Прошка подходил и топтался около.

— Ты чего, Прохор? — спросит, бывало, приветливо Шутиков.

— Так, ничего! — ответит Прошка.

— Куда ж ты?

— А к своему месту… Я ведь так только! — скажет Прошка, словно бы извиняясь, что беспокоит Шутикова, и уйдет.

Всеми силами старался Прошка чем-нибудь да угодить Шутикову: то предложит ему постирать белье, то починить его гардероб, и часто отходил смущенный, получая отказ от услуг. Однажды Прошка принес щегольски сработанную матросскую рубаху с голландским передом и, несколько взволнованный, подал ее Шутикову.

— Молодец, Житин… Важная, брат, работа! — одобрительно заметил Шутиков после подробного осмотра и протянул руку, возвращая рубаху.

— Это я тебе, Егор Митрич… Уважь… Носи на здоровье.

Шутиков стал было отказываться, но Прошка так огорчился и так просил уважить его, что Шутиков, наконец, принял подарок.

Прошка был в восторге.

Случайно проходивший Шутиков, увидав, как травят Прошку, вступился:

— Это, Иванов, не того… нехорошо это… Чего ты пристал к человеку, ровно смола?

— Прошка у нас не обидчивый! — со смехом отвечал Иванов… — Ну-ка, Прошенька, расскажи, как ты у батюшки шильники таскал и мамзелям

опосля носил… Не кочевряжься… Расскажи, Прошенька! — глумился на общую потеху Иванов.

— Не тронь, говорю, человека… — строго повторил Шутиков.

Все были удивлены, что за Прошку, за лодыря и вора Прошку, Шутиков так горячо заступается.

— Да ты чего? — окрысился вдруг Иванов.

— Я-то ничего, а ты не куражься… Ишь тоже нашел над кем куражиться.

Тронутый до глубины души и в то же время боявшийся, чтобы из-за него не было Шутикову неприятностей, Прошка решился подать голос:

— Иванов ничего… Он ведь так только… Шутит, значит…

— А ты съездил бы его по уху, небось перестал бы так шутить.

— Прошка бы съездил?.. — удивленно воскликнул Иванов, до того показалось ему это невероятным. — Ну-ка, попробуй, Прошка… Насыпал бы я тебе, вислоухому, в кису.

— Может, и сам бы съел сдачи.

— Не от тебя ли?

— То-то от меня! — сдерживая волнение, проговорил Шутиков, и его обыкновенно добродушное лицо было теперь строго и серьезно.

Иванов стушевался. И только когда Шутиков отошел, проговорил, насмешливо улыбаясь и указывая на Прошку:

— Однако… нашел себе приятеля Шутиков… Нечего сказать… приятель… хорош приятель, Прошка-гальюнщик!

После этого происшествия Прошку обижали меньше, зная, что у него есть заступник, а Прошка еще сильнее привязался к Шутикову и скоро доказал, на что способна привязанность его благодарной души.

VII

Это было в Индийском океане, на пути к Зондским островам.

Утро в тот день стояло солнечное, блестящее, но прохладное — относительная близость Южного полюса давала себя знать. Дул свежий ровный ветер, и по небу носились белоснежные перистые облака, представляя собой изящные фантастические узоры. Плавно раскачиваясь, клипер наш летел полным ветром под марселями в один риф, под фоком и гротом, убегая от попутной волны.

Был десятый час на исходе. Вся команда находилась наверху. Вахтенные стояли у своих снастей, а подвахтенные были разведены по работам. Всякий занимался каким-нибудь делом: кто оканчивал чистку меди, кто подскабливал шлюпку, кто вязал мат.

Шутиков стоял на грот-русленях,

прикрепленный пеньковым поясом, и учился бросать лот, недавно сменив другого матроса. Вблизи от него был и Прошка. Он чистил орудие и по временам останавливался, любуясь на Шутикова, как тот, набравши много кругов лот-линя (веревки, на которой прикреплен лот), ловко закидывает его назад, словно аркан, и затем, когда веревка вытянется, снова быстрыми ловкими движениями выбирает ее…

Вдруг со шканцев раздался отчаянный крик:

— Человек за бортом!

Не прошло нескольких секунд, как снова зловещий крик:

— Еще человек за бортом!

На мгновение все замерло на клипере. Многие в ужасе крестились.

Вахтенный лейтенант, стоявший на мостике, видел, как мелькнула фигура сорвавшегося человека, видел, как бросился в море другой. Сердце в нем дрогнуло, но он не потерялся. Он бросил с мостика спасательный круг, крикнув бросать спасательные буйки и с юта, и громовым взволнованным голосом скомандовал:

— Фок и грот на гитовы!

С первым окриком все офицеры выскочили наверх. Капитан и старший офицер, оба взволнованные, уж были на мостике.

— Он, кажется, схватился за буек! —

проговорил капитан, отрываясь от бинокля. — Сигнальщик… не спускай их с глаз!..

— Есть… Вижу!

— Скорей… скорей ложитесь в дрейф да спускайте баркас! — нервно, отрывисто торопил капитан.

Но торопить было нечего. Понимая, что каждая секунда дорога, матросы рвались как бешеные. Через восемь минут клипер уже лежал в дрейфе, и баркас с людьми, под начальством мичмана Лесового, тихо спускался с боканцев.

— С богом! — напутствовал капитан. — Ищите людей на ост-норд-ост… Да не заходите далеко! — прибавил он.

Упавших в море уже не было видно. В эти восемь минут клипер пробежал по крайней мере милю.

— Кто это упал? — спросил капитан старшего офицера.

— Шутиков. Сорвался, бросая лот… Лопнул пояс…

— А другой?

— Житин! Бросился за Шутиковым.

— Житин? Этот трус и рохля? — удивился капитан.

— Я сам не могу понять! — отвечал Василий Иваныч.

Между тем все глаза были устремлены на

баркас, который медленно удалялся от клипера, то скрываясь, то показываясь среди волн. Наконец он совсем скрылся от глаз, не вооруженных биноклем, и кругом был виден один волнующийся океан.

На клипере царила угрюмая тишина. Изредка лишь матросы перекидывались словами вполголоса. Капитан не отрывался от бинокля. Старший штурман и два сигнальщика смотрели в подзорные трубы.

Так прошло долгих полчаса.

— Баркас идет назад! — доложил сигнальщик.

И снова все взоры устремились на океан.

— Верно, спасли людей! — тихо заметил старший офицер капитану.

— Почему вы думаете, Василий Иваныч?

— Лесовой не вернулся бы так скоро!

— Дай бог! Дай бог!

Ныряя в волнах, приближался баркас. Издали он казался крошечной скорлупой. Казалось, вот-вот его сейчас захлестнет волной. Но он снова показывался на гребне и снова нырял.

— Молодцом правит Лесовой! Молодцом! — вырвалось у капитана, жадно глядевшего на шлюпку.

Баркас подходил все ближе и ближе.

— Оба в шлюпке! — весело крикнул сигнальщик.

Радостный вздох вырвался у всех. Многие

матросы крестились. Клипер словно ожил. Снова пошли разговоры.

— Счастливо отделались! — проговорил капитан, и на его серьезном лице появилась радостная, хорошая улыбка.

Улыбался в ответ и Василий Иванович.

— А Житин-то… трус, трус, а вот подите!.. — продолжал капитан.

— Удивительно… И матрос-то лодырь, а бросился за товарищем!.. Шутиков покровительствовал ему! — прибавил Василий Иванович в пояснение.

И все дивились Прошке. Прошка был героем минуты.

Через десять минут баркас подошел к борту и благополучно был поднят на боканцы.

Мокрые, вспотевшие и красные, тяжело дыша от усталости, выходили гребцы из баркаса и направлялись на бак. Вышли Шутиков и Прошка, отряхиваясь, словно утки, от воды, оба бледные, взволнованные и счастливые.

Все с уважением смотрели теперь на Прошку, стоявшего перед подошедшим капитаном.

— Молодец, Житин! — сказал капитан, невольно недоумевая при виде этого неуклюжего, невзрачного матроса, рисковавшего жизнью за товарища.

А Прошка переминался с ноги на ногу,

видимо робея.

— Ну, ступай, переоденься скорей да выпей за меня чарку водки… За твой подвиг представлю тебя к медали, а от меня получишь денежную награду.

Совсем ошалевший Прошка даже не догадался сказать «рады стараться!» и, растерянно улыбаясь, повернулся и пошел своей утиной походкой.

— Снимайтесь с дрейфа! — приказал капитан, поднимаясь на мостик.

Раздалась команда вахтенного лейтенанта. Голос его теперь звучал весело и спокойно. Скоро были поставлены убранные паруса, и минут через пять клипер снова несся прежним курсом, подымаясь с волны на волну, и прерванные работы опять возобновились.

— Ишь ведь ты какой, блоха тебя ешь! — остановил Лаврентьич Прошку, когда тот, переодетый и согревшийся чаркой рома, поднялся вслед за Шутиковым на палубу. — Портной, портной, а какой отчаянный! — продолжал Лаврентьич, ласково трепля Прошку по плечу.

— Без Прохора, братцы, не видать бы мне свету! Как я это окунулся да вынырнул, ну, думаю, — шабаш… Богу отдавать душу придется! — рассказывал Шутиков. — Не продержусь, мол, долго на воде-то… Слышу —

Прохор голосом кричит… Плывет с кругом и мне буек подал… То-то обрадовал, братцы! Так мы вместе и держались, доколь баркас не подошел.

— А страшно было? — спрашивали матросы.

— А ты думал как? Еще как, братцы-то, страшно! Не дай бог! — отвечал Шутиков, добродушно улыбаясь.

— И как это ты, братец, вздумал? — ласково спросил Прошку подошедший боцман.

Прошка глупо улыбался и, помолчав, ответил:

— Я вовсе и не думал, Матвей Нилыч… Вижу, он упал, Шутиков, значит… Я, значит, господи благослови, да за им…

— То-то и есть!.. Душа в ем… Ай да молодца, Прохор! Ишь ведь… Накось покури трубочки-то на закуску! — сказал Лаврентьич, передавая Прошке, в знак особенного благоволения, свою короткую трубочку, и при этом прибавил забористое словечко в самом нежном тоне.

С этого дня Прошка перестал быть прежним загнанным Прошкой и обратился в Прохора.

На каменьях

I

Вечерняя вахта на «Красавце», куда меня недавно перевели с «Голубчика», была не из приятных.

Дождь хлестал немилосердно и, несмотря на новый дождевик и нахлобученную зюйдвестку, ехидно пробирался за воротник, заставляя по временам вздрагивать от холода водяной струйки, стекавшей по спине. Дул довольно свежий противный ветер, и клипер «Красавец», спешивший вследствие предписания адмирала, несся под парами полным ходом среди непроглядной тьмы этого бурного вечера в Китайском море.

Признаюсь, мне было очень жутко в начале вахты. Воображение юнца-моряка, настроенное окружающим мраком, рисовало всевозможные неожиданности, с которыми, казалось, мне не справиться. В глазах мелькали — то справа, то слева — воображаемые красные и зеленые огни встречных судов или внезапно вырастал под носом клипера грозный силуэт громадного «купца», не носящего, по беспечности, как часто случается, огней, и я напряженнее вглядывался вперед, в темную бездну, вглядывался и, не видя ничего, кроме чуть белеющихся гребешков волнующегося

моря, часто покрикивал часовым на баке вздрагивающим от волнения голосом «Хорошенько вперед смотреть!» — хотя и понимал, что часовые, так же как и я, ничего не увидят в этой кромешной тьме, окутавшей со всех сторон наш несшийся вперед маленький клипер.

Скоро, впрочем, я свыкся с положением. Нервы успокоились, галлюцинации зрения прошли, и к концу вахты я уже не думал ни о каких опасностях, а ждал смены с нетерпеньем влюбленного, ожидающего свидания, мечтая только о свежем белье, сухом платье и стакане горячего чая в теплой кают-компании.

Время на таких вахтах тянется чертовски долго, особенно последняя склянка. От нетерпения поскорей обсушиться и отогреться после четырехчасовой «мокрой» вахты, кажется, будто этой последней, желанной склянке и конца не будет.

— Сигнальщик! Узнай, сколько до восьми?

Притаившийся от дождя под мостиком сигнальщик, хорошо знающий нетерпение «господ» перед концом вахты, торопливо спускается вниз и через минуту возвращается и докладывает, что осталось «всего восемь минут».

«Целых восемь минут!»

— Ты на каких это часах смотрел? — грозно спрашиваешь у сигнальщика.

— В кают-компании, ваше благородие! Уж Николай Николаич обряжаются к вахте, — прибавляет в виде утешения сигнальщик и исчезает под мостик.

И снова шагаешь по мостику, снова взглядываешь на компас и снова приказываешь, чтобы вперед смотрели.

Дождь начинает хлестать с меньшею силой, и ветер как будто стихает.

«Счастливец этот Литвинов!» — не без зависти думаешь о «счастливце», который сменит тебя и не промокнет до нитки.

Вот наконец бьет восемь склянок, и с последним ударом колокола окутанная в дождевик плотная фигура лейтенанта Литвинова появляется на мостике.

— Скверную же вы сдаете мне вахту… Что бы приготовить получше? — говорит Литвинов, заливаясь, по обыкновению, веселым смехом.

— Скверную? Вы посмотрели бы, что на моей было! — отвечаешь недовольным, обиженным тоном. — Дождь-то проходит.

— Зато темно, как…

Литвинов заканчивает свое сравнение и говорит:

— Ну, сдавайте вахту… Небось чаю хочется? Спешите, а то пан Казимир унесет свой коньяк… И то я его наказал на целую рюмку. Накажите и вы,

чтоб он не мог заснуть от отчаяния.

Я стал сдавать вахту: сказал курс, передал распоряжение не уменьшать хода без приказания капитана и прибавил, что в исходе девятого мы должны быть на траверзе группы маленьких подводных островков. Они должны оставаться слева.

— Да разве мы их еще не прошли?

— То-то нет… Хотите удостовериться — взгляните на карту. Она, кстати, наверху, в рубке.

Мы спустились в маленькую рубку под мостиком и заглянули туда.

Там сидел сухощавый низенький пожилой человек лет пятидесяти, с маленьким морщинистым суровым лицом, озабоченно поглядывая на лежащую перед ним карту. На нем был дождевик и зюйдвестка, из-под которой виднелись седоватые волосы.

Это был старший штурман «Красавца», штабс-капитан Никанор Игнатьевич Осинников, или, как тихонько звали его гардемарины, «Синус Синыч», молчаливый, угрюмый, основательный служака из штурманских «косточек», много переплававший на своем веку, страшно самолюбивый и мнительный в охранении своего достоинства, щекотливый к малейшей шутке и в то же время редкий добряк, несмотря на свой суровый вид, с теми, кто пользовался его расположением, то

есть не подозревался в насмешливом или презрительном отношении к штурманам и кто умел хорошо брать высоты и вычислять безошибочно широту и долготу места.

Литвинов, этот общий любимец и enfant gate[2] кают-компании, всегда добродушный, веселый и жизнерадостный, остроумный рассказчик неистощимых анекдотов, умевший вызывать улыбку даже на хмуром лице Никанора Игнатьевича, заглянул в карту, на которой был проложен курс, и неосторожно кинул вопрос:

— А не снесет нас течением, Никанор Игнатьич?

Несколько суеверный, не любивший, чтобы заранее говорили о какой-нибудь опасности, грозившей клиперу по штурманской части, Никанор Игнатьевич строго взглянул на молодое, румяное, веселое лицо лейтенанта.

— А вы думаете, течение не принято в расчет? Принято-с! Потому-то и курс проложен-с в десяти милях от этих маленьких подлецов! — с сердцем промолвил старый штурман, указывая своим высохшим костлявым пальцем на «маленьких подлецов», обозначенных на карте. — Оно, конечно, лучше бы и еще подальше от них! Наблюдений сегодня не было… Течения тут никто

---

[2] баловень (фр.).

не определял… Черт его знает! — как бы в сердитом раздумье прибавил Никанор Игнатьевич.

— Так отчего же мы не наплюем на этих подлецов и не оставим их совсем далеко, Никанор Игнатьич? — спросил, весело улыбаясь, Литвинов.

— То-то вам все наплевать! А приказание адмирала — спешить как можно скорей?.. На него не наплюешь! Капитан и решил идти ближе к берегам. Волнение здесь не такое сильное, как в открытом море при этом подлом норд-весте, и следовательно, клипер имеет большой профит[3] в ходе-с. Там мы ползли бы узлов по шести, а теперь по десяти дуем-с! Не давай таких предписаний! — неожиданно прибавил возбужденно и сердито Никанор Игнатьевич. — Какая такая спешка!

Столь подробное объяснение, которым удостоил обыкновенно скупой на слова старый штурман, едва ли можно было приписать исключительно расположению Никанора Игнатьевича к Литвинову. Возбужденный, сердитый тон штурмана обнаруживал скорей его волнение, которое он всегда испытывал, тщательно, впрочем, скрывая его, когда вблизи клипера были какие-нибудь «большие» или «маленькие подлецы».

Литвинов больше не расспрашивал.

---

[3] выгоду (от фр. profit).

Поднимаясь на мостик, он снова повторил мне на прощанье совет «непременно наказать пана Казимира» и вслед за тем крикнул веселым, звучным голосом, во всю силу своих могучих легких:

— Вперед смотреть!

И, точно наэлектризованные этим веселым голосом, часовые на баке так же весело и громко ответили:

— Есть! Смотрим!

Вышел из рубки и Никанор Игнатьевич.

Полоса света, падавшего от машинного люка, осветила низенькую, маленькую фигурку старшего штурмана, пробиравшегося, понурив голову, на бак с большим биноклем в руке.

«Теперь Синус Синыч, верно, сам будет вперед смотреть. Смотрите, смотрите, господа!» — подумал я, спускаясь вниз, веселый и довольный, что кончилась эта скверная вахта.

II

Через пять минут переодевшись в сухое платье, я уже сидел в теплой, светлой кают-компании за стаканом чая, испытывая то ощущение довольства, удовлетворенности и некоторой приятной истомы, которое хорошо знакомо морякам. Теперь уж меня не особенно

занимало, что делается там, наверху, — хлещет ли дождь или нет. Здесь, внизу, было уютно, сухо и тепло.

Однако совета Литвинова так-таки и не удалось исполнить, хотя я и не прочь был влить несколько ложечек коньяка в чай. В тот самый момент, как вестовой подал мне стакан и я только что хотел подговориться к превосходному докторскому коньяку, предусмотрительный доктор (он же пан Казимир), по обыкновению ораторствовавший о возвышенных предметах со своим несколько театральным пафосом и весь поглощенный, казалось, точным определением истинного мужества, успел все-таки заметить мой «прицельный» взгляд на бутылку. И, словно бы желая собственным примером показать образец истинного мужества, он поднялся с дивана, не окончив перечисления всех знаменитых «светочей поэзии и философии», трактовавших об этом вопросе, и унес, к крайнему моему огорчению, бутылку fine champagne[4] в свою каюту.

Многие, заметившие этот маневр, наградили меня сочувственными улыбками, а сосед мой, молодой черноволосый мичман Гарденин, штудировавший Шлоссера, шепнул, отрываясь от книги:

---

[4] коньяка (фр.).

— Опоздали! А ведь бутылка, против обыкновения, была на столе все время, пока доктор разводил разводы. Сегодня он в особенном ударе! Старшего офицера уж в лоск уложил и заставил удрать в каюту. Теперь донимает Ванечку… Глядите, как Ванечка обалдел! Скоро, пожалуй, придется спешить на выручку… — прибавил, усмехаясь, мичман, умевший с большим искусством травить доктора.

Пан Казимир между тем вернулся и продолжал как ни в чем не бывало прерванную беседу об истинном мужестве, обращаясь главным образом к сидевшему близ него младшему механику, невозмутимому молодому хохлу в засаленной, когда-то белой куртке, как к единственной жертве, способной выслушивать без знаков нетерпения длинные речи и рассказы доктора, герой которых, Казимир Викентьевич Горжельский, разумеется, являлся всегда при бенгальском освещении.

— Великий поэт Виктор Гюго в одном из своих творений говорит, что мужество есть непременное качество возвышенных натур.

Доктор, говоривший с заметным польским акцентом, стал было цитировать стихи Виктора Гюго, отвратительно произнося французские слова, но, продекламировав несколько стихов, остановился.

— Впрочем, вы ведь не знаете по-французску? — спросил он.

«Обалдевший» механик с невозмутимым видом отрицательно качнул головой.

— Так я вам переведу.

Он перевел и продолжал:

— Другой гениальный поэт, Байрон… Вы знаете по-английску!

Ванечка снова ответил отрицательным кивком.

Тогда доктор привел по-русски соответствующий пример из Байрона и прибавил, что любит читать классиков в подлинниках. Это не то что переводы! Очень жаль, что молодой человек не знает языков! Он дал бы молодому человеку много интересных книг на французском, немецком, английском и итальянском языках. Он на всех этих диалектах свободно говорит и читает… Он много перечитал книг… «Не менее десяти тысяч томов!» — прибавил доктор и снова воскликнул:

— Ах, как жаль, что вы не знаете языков!

И этот самоуверенный, полный необыкновенного апломба тон, каким говорил доктор, и выражение самовосхищения, стоявшее в чертах его продолговатого желтого, окаймленного черными баками лица с низким узким лбом, под которым сидели небольшие холодные темные глаза, и быстрые взгляды исподлобья, бросаемые во время

разговора на окружающих, — словом, все в этом сорокалетнем Нарциссе, влюбленном в себя, говорило, что он не столько жалеет о незнании Ванечкой иностранных языков, сколько хочет порисоваться и убедить публику в своих преимуществах.

Несмотря на знание доктором четырех языков (крайне, впрочем, сомнительное) и на необыкновенные случаи из практики, о которых любил рассказывать доктор, пана Казимира в кают-компании недолюбливали, «случаям» его верили с осторожностью и считали доктора самолюбивым, надутым фразером и хвастуном. Даже юные гардемарины, с которыми доктор вначале пробовал либеральничать, очень скоро поняли подозрительность его цивизма [5], напыщенность фразы и ограниченность ума. Вдобавок и его льстивая манера обращения с капитаном и старшим офицером, любезное высокомерие с другими и чисто шляхетское, полное нескрываемого презрения отношение к матросам еще более нас отталкивали, и доктор напрасно расточал перлы красноречия, рассказывая в интимной беседе a part [6] о высших «непонятых

---

[5] гражданских чувств (от лат. civils — гражданский).

[6] с глазу на глаз (фр.).

натурах», обреченных судьбою жить среди людей низменного уровня. Непонятую натуру обегали и относились к ней далеко не дружелюбно.

К этому надо прибавить, что доктор был из тех поляков, которые упорно открещиваются от своей национальности в среде русских и прикидываются ярыми патриотами среди поляков.

Пожалев, что наш милейший хохол Ванечка обречен на тьму невежества, доктор хотел было рассказывать один из «интересных случаев в его жизни, когда знание иностранных языков принесло ему громадную пользу», как мой сосед Гарденин, воспользовавшись временем, пока доктор не спеша свертывал папиросу, шепнул мне:

— Совсем он замучает Ванечку. Я ведь слышал этот «случай»… Очень длинный случай… Вы знаете историю про знатную итальянку?

— Нет.

— Так вот она в кратком изложении. Знатная итальянка в Петербурге… Ну, конечно, красавица и, конечно, у нее сложная болезнь, редкая в медицине… Пять знаменитых врачей, с Боткиным во главе, не понимая ни слова по-итальянску, не понимают, разумеется, и ее болезни, лечат от пневмонии, тогда как у нее сердце, печень и что-то в кишках, — словом, совсем не то, а что-то другое… перикардит и еще какое-то мудреное название. Знатная итальянка чахнет, еще два-три

дня — и не видать бы ей божьего света, как вдруг пан Казимир приезжает из Кронштадта и совершенно случайно, хотя и без тени правдоподобия, попадает к знатной итальянке. Вы догадываетесь, конечно, о финале? Она прогоняет всех врачей, через пять дней встает с постели, а еще через пять едет на бал к бразильскому посланнику. Само собой, дело не обходится без романтической компликации [7] . Исполненная благодарности к своему спасителю (вдобавок тогда пан Казимир был чертовски хорош и, по его словам, отчаянный сердцеед), знатная итальянка намекает, что так и так, она не прочь выйти замуж за пана Горжельского (предки доктора ведь от Пяста!), но он, натурально, как благородный шляхтич, не хочет воспользоваться увлечением ее знойного темперамента и сделаться владельцем замка в Неаполе и рисовых полей в Ломбардии… И вот тогда-то она снимает с своего пальца и надевает на мизинец пана Казимира тот самый необыкновенный брильянт, стоящий сорок две тысячи франков (ни одного сантима менее!), которым доктор вместе с другими кольцами украшает свои противные пальцы по праздникам и при съездах на берег… Нет, положительно надо выручать Ванечку! Уж доктор разглаживает баки —

---

[7] запутанности (от лат. complicatio).

значит, сейчас начнет.

И с этими словами, произнесенными вполголоса, черноволосый, худенький, с подвижною физиономией и вздернутою губой Гарденин поднялся с места и, присаживаясь на противуположном крае стола, рядом с Ванечкой, обращается к доктору:

— Позвольте побеспокоить вас, доктор, одним вопросом?

Серьезный тон и самое невинное выражение лица молодого мичмана обманывают на этот раз доктора, и он, не подозревая никакой каверзы, позволяет благосклонным наклонением головы.

— Объясните, пожалуйста, что это за болезнь перикардит? — продолжал Гарденин, по-видимому весьма заинтересованный сведениями о перикардите, и в то же время незаметно подталкивает локтем Ванечку: уходи, мол!

Хотя доктор предварительно и замечает, что профану в медицине довольно трудно будет понять сущность этой болезни, тем не менее входит в подробные объяснения, уснащивая их различными медицинскими терминами, а тем временем младший механик благополучно удирает из кают-компании.

Удовлетворив любознательности Гарденина и совершенно успокоившись насчет его намерений, доктор, заметивший исчезновение Ванечки, не

может удержаться от искушения рассказать про «случай» и прибавляет:

— Я только что хотел рассказать об одном весьма интересном случае излечения именно той болезни, которая вас интересует… Все лучшие доктора…

— Это когда вы лечили одну знатную итальянку, доктор? — перебил мичман.

Доктор, не любивший, чтобы его прерывали, с важностью промолвил:

— Я на своем веку многих аристократов пользовал…

— Но, сколько мне помнится, именно у итальянки был жестокий перикардит с какими-то осложнениями, и если бы не ваше искусство, плохо пришлось бы больной? — продолжал Гарденин с самым серьезным видом, преисполненный, казалось, необыкновенным почтением к искусству доктора.

— Да, был такой случай… Я пользовал маркизу Кастеламарре! — говорил доктор, произнося слова «маркизу Кастеламарре» с каким-то сладостным замиранием в голосе. — Об этом случае в свое время много говорили в медицинском мире…

— Как же, как же… Я ведь слышал, как вы рассказывали эту любопытную историю…

— Это, извольте знать, не история, а факт! —

внушительно проговорил пан Казимир, начиная хмуриться.

— О, разумеется факт, тем более что и брильянтовое кольцо в сорок две тысячи франков — тоже факт, и весьма ценный факт!

— Вероятно, вам не случалось видеть хороших брильянтов, и вы, кажется, изволите сомневаться в ценности моего супира? — с презрительной усмешкой заметил закипавший злостью доктор, нервно пощипывая длинными желтыми пальцами свою выхоленную, великолепную черную бакенбарду.

— Христос с вами, доктор, смею ли я сомневаться? — воскликнул, по-видимому с полной искренностью, шаловливый мичман. — Такие ли еще бывают факты!.. «Есть много, друг Горацио, тайн» и так далее… Я, положим, не видал хороших брильянтов — не стану врать, — но видал, например, крупнейших окуней у нас, в Смоленской губернии, и знаю тоже в своем роде интересный факт об их живучести, о котором я, с вашего позволения, расскажу. Стали жарить однажды громадного жирного окуня, фунтов эдак десяти, и что ж бы вы думали? Уж один бок его стал румяниться, а окунище, подлец, все еще жив… Так и пляшет, я вам доложу, на сковороде. Сняли этого самого мерзавца со сковороды, зашили ему брюхо, пустили в речку, и — поверите ли, доктор? — ведь

поплыл, как встрепанный, окунь-то этот… Факт невероятный, а ведь я сам видел! — прибавил с невозмутимою серьезностью мичман.

Общий смех огласил кают-компанию.

Не смеялся только один доктор.

Позеленевший от злости, с презрительно сощуренными глазами, он в первую минуту пребывал в гордом молчании и только, когда смех прекратился, заметил с пренебрежением оскорбленного величия:

— Признаюсь, я не понимаю этого мичманского остроумия… Какой-то окунь… какой-то вздор…

Вдруг раздался страшный треск. Клипер вздрогнул всем своим корпусом, как-то странно покачнулся и, казалось, сразу остановился.

Все на мгновение замерли, недоумевающие и испуганные, взглядывая друг на друга широко раскрытыми глазами.

Старший офицер, вылетевший из каюты, пронесся как бешеный наверх. Вслед за ним ринулись и другие. Доктор, бледный как полотно, не трогаясь с места, беззвучно что-то шептал и крестился.

В первое мгновение я не сообразил, что такое случилось, и не испугался. Но вслед за тем мне почему-то представилось, будто на нас наскочило судно и врезалось в бок. И тогда мною овладел

страх, который я тщетно усиливался побороть, стараясь казаться спокойным. Сердце упало, холод пробегал по всему телу, и я бросился стремглав вслед за другими наверх, охваченный паникой и стыдясь в то же время своего малодушия, недостойного моряка.

III

Непроглядная темень по-прежнему окутывала клипер, недвижно стоявший среди моря. На палубе царила грозная тишина. Только рокотало море да ветер жалобно посвистывал в снастях. И среди этой тишины клипер, приподнимаемый волнением, снова еще раз и другой тяжело ударился о подводный камень. Удары эти сопровождались таким наводящим ужас треском во всех членах судна, что казалось, оно не вынесет этой пытки и вот-вот сейчас развалится пополам.

— О господи! — раздалось чье-то скорбное восклицание среди людских теней, собравшихся кучками на палубе.

И чей-то голос стал тихо читать молитву.

— Беспременно тепериче разобьет нас на каменьях!

— Вишь, угодили-то как!

— Смирно! — раздался вдруг с мостика голос капитана.

Разговоры мгновенно смолкли.

— Триселя и кливер поставить! Лотовые на лот! Полный ход вперед! — командовал капитан.

В этом негромком, несколько гнусавом, отчетливом голосе не слышно было ни одной нотки страха или волнения. Он был спокоен, прост и ровен, точно капитан распоряжался на ученье. И это спокойствие словно бы сразу низводило опасность положения до самой обыкновенной случайности в море и, невольно передаваясь другим, вселяло бодрость и уверенность в сердца испуганных людей.

— Ишь ведь, отчаянный он у нас какой! — проговорил кто-то среди толпившихся матросов повеселевшим голосом.

— Не бойсь, он распорядится!

И у меня отлегло от сердца. Я еще более устыдился своего малодушия и торопливо поднялся на мостик, где должен был находиться, по расписанию, во время аврала.

Машина работала полным ходом, но клипер не двигался с места.

— Как глубина?

В ответ раздался отрывистый голос старшего штурмана, под наблюдением которого лотовые обмеряли глубину вокруг клипера.

Недаром голос Никанора Игнатьевича, перегнувшегося через борт с фонарем в руках,

звучал сердито. Обмер показывал, что клипер сидел всем своим корпусом на камне и только корма была на вольной воде.

— Фальшвейры! — приказал капитан.

Ярко-красный огонь фальшвейров, выкинутых с обеих сторон, погрузив в тьму клипер, рассеял таинственность окружающего мрака. Слева, в недалеком расстоянии, белелись грозные буруны, доносясь слабым откликом характерного гула. Справа море было чисто и с однообразным ровным шумом катило свои волны, рассыпавшиеся пенистыми седыми верхушками. Ясно было, что мы, по счастию, налетели на крайний камень из этой группы маленьких «подлецов», брошенных среди моря.

— Стоп машина! Полный ход назад! — распоряжался капитан, передавая приказания в машину через переговорную трубку.

Прошла еще бесконечная тягостная минута.

— Идет ли? — спросил капитан своим прежним спокойным гнусавым голосом.

— Нет!

И, словно в подтверждение, что не идет, клипер снова беспомощно ударился о камень. Удар этот, тяжелый, медленный, казалось, был ужаснее прежних.

Капитан взялся за ручку машинного телеграфа.

«Дзинь-дзинь!»

Машина застопорила.

«Дзинь-дзинь!»

Машина снова застучала полным ходом.

Бедняга клипер, точно прикованный, не подавался.

Я взглянул на худощавую невысокую фигуру капитана, стоявшего в полосе слабого света от огня компаса, рассчитывая по выражению его лица узнать о степени грозившей нам опасности.

Ни черточки страха или волнения! Напротив, во всей его фигуре, неподвижно стоявшей у машинного телеграфа, было какое-то дерзкое, вызывающее спокойствие, и всегдашнее чуть заметное надменное выражение, обыкновенно скрадывавшееся любезной улыбкой, теперь, ничем не сдерживаемое, светилось во всех чертах красивого молодого лица, опушенного светло-русыми вьющимися бакенбардами.

Мне не был симпатичен этот «лорд», как метко прозвали гардемарины нашего капитана. Молодой, красивый, изящный, фаворит высшего начальства, не в пример другим делавший карьеру, двадцати шести лет уже бывший командиром щегольского клипера, он держал себя гордо и неприступно, с тою холодною вежливостью, под которою чувствовалось снисходительное презрение служебного баловня и черствость себялюбивой

натуры. И, несмотря на это, теперь этот человек невольно восхищал своим самообладанием.

«Неужели же он нисколько не боится за клипер?» — с досадой думал я, посматривая на невозмутимого «лорда».

Точно в ответ на мои мысли, капитан тихо сказал старшему офицеру все тем же своим спокойным голосом:

— Кажется, плотно врезались. Осмотрите, нет ли течи?.. Да чтобы гребные суда были готовы к спуску! — еще тише прибавил капитан. — Мало ли что может случиться!

Не успел старший офицер уйти, как с бака крикнули:

— В подшкиперской вода!

Этот неестественно громкий, взволнованный голос нашего боцмана-финляндца заставил меня невольно вздрогнуть. Под мостиком кто-то испуганно ахнул.

В ответ на отчаянный окрик капитан крикнул обычное «есть!» таким равнодушным, хладнокровным тоном, будто в известии боцмана не было ничего важного и он отлично знает, что в подшкиперской вода.

И, понизив голос, прибавил, обращаясь к старшему офицеру:

— Что за идиот этот чухонец!.. Орет, вместо того чтобы прийти доложить… Потрудитесь

осмотреть, Алексей Петрович, что там такое, велите поскорей заткнуть пробоину и дайте мне…

Взбежавший на мостик младший механик прервал капитана докладом, что в машине вода.

— И много?

— Подходит к топкам! — взволнованно отвечал обыкновенно невозмутимый хохол.

— Помпа пущена?

— Сейчас пустили!

— Ну и отлично! — промолвил капитан, хотя, казалось, ничего «отличного» не было. — Давайте чаще знать, как в машине вода.

Механик ушел, а капитан хладнокровно продолжал отдавать приказания старшему офицеру, и только речь его сделалась чуть-чуть торопливее и отрывистее.

— Пустить все помпы! Скорей на пробоину пластырь! Когда сойдем, подведите парус.

Старший офицер бегом полетел с мостика, а капитан снова взялся за ручку машинного звонка.

«Сойдем ли?»

Сомнение закрадывалось в душу, усиливаясь при новом ударе беспомощного клипера и вызывая мрачные мысли.

«До берега далеко, не менее двадцати миль… Как доберемся мы на шлюпках при таком волнении, если придется спасаться? Неужели нам грозит гибель? За что же? А жить так хочется!»

И сердце тоскливо сжималось, и взор невольно обращался по направлению к этому далекому берегу.

Но глаз ничего не видит, кроме непроглядной тьмы бурной ночи. Ветер, казалось, крепчал. Всплески волн с шумом разбивались о бока клипера.

«Ах, если б он скорее сошел!»

С тех пор как мы вскочили на камень, прошло не более двух-трех минут, но в эту памятную ночь эти минуты казались вечностью.

— Господин С.! Взгляните, как барометр, да посмотрите, нет ли воды в ахтерлюке! — приказал капитан.

Я бросился вниз, и — странное дело! — мрачные мысли тотчас же исчезли; я думал только, что надо исполнить приказание, не вызвав снисходительно-насмешливого замечания «лорда».

На трапе я нагнал Гарденина, посланного старшим офицером с тем же поручением.

Гарденин вошел первый в кают-компанию, но вдруг остановился на пороге и, приложив палец к губам, шепнул, указывая на открытую докторскую каюту:

— Смотрите, как действует истинное мужество!

Несмотря на серьезность положения, я невольно улыбнулся вслед за Гарденины, увидав

пана доктора. Без сюртука, с спасательным поясом, обвязанный весь какими-то мешочками, метался он по каюте, собирая вещи, и растерянным голосом бормотал какие-то слова.

— А ведь потом нам же будет рассказывать, как геройствовал! — зло проговорил Гарденин, входя в кают-компанию.

Заслышав голоса, доктор торопливо надел пальто и вылетел к нам.

Бледный, с искаженным от страха лицом, стараясь под жалкой, неестественной улыбкой скрыть перед нами свой страх, спросил он прерывистым голосом:

— Ну что? Есть ли надежда, что сойдем?

— Никакой! Сейчас тонем, доктор! — гробовым голосом отвечал Гарденин.

Страшный треск нового удара, казалось, подтверждал эти слова.

— О пан Иезус! О матка божка! — в ужасе шептал доктор крестясь.

— Полно врать, Гарденин! — перебил я, чувствуя невольную жалость к этому олицетворению страха. — Пока никакой непосредственной опасности нет, доктор!

— А вы уж собрались спасаться?.. Небось теперь и пана Иезуса и матку божку вспомнили? — насмешливо кинул Гарденин и, повернувшись, крикнул вошедшему с фонарем вестовому: —

Живо, люк!

Несмотря на страх, доктор метнул в спину Гарденина взгляд, полный ненависти и злобы. Он не простил Гарденину этой злой шутки и с той минуты возненавидел его.

— А я на всякий случай приготовился ко всему! — обратился ко мне доктор с заискивающей улыбкой, оправившись несколько от страха после моих успокоительных слов. — Не следует никогда теряться в опасности! — прибавил он с хвастливостью и торопливо бросился наверх…

Я спустился за Гарденином в ахтерлюк. Воды там не оказалось, и мы тотчас вышли.

— Как вы думаете, Гарденин, сойдем?

— А черт его знает! Нет, непременно выйду в отставку, как вернусь в Россию, если только буду жив! — неожиданно прибавил он. — Эти ощущения не особенно приятны… ну их! Я вот смеюсь над доктором за его трусость, а ведь сам, признаться, жестоко трушу! — проговорил с какою-то возбужденной, подкупающей искренностью Гарденин, пользовавшийся заслуженною репутацией лихого офицера.

С этими словами он выскочил из кают-компании.

Взглянув в капитанской каюте на барометр, я поднялся наверх и взбежал на мостик.

IV

Капитан стоял на краю и, перегнувшись через поручни, смотрел за борт, держа в руке фонарь. На шканцах, перевесившись совсем через борт, с тою же сосредоточенностью смотрел на воду и Никанор Игнатьевич.

Точно в ожидании чего-то особенно важного, на палубе была мертвая тишина. Только машина, работавшая полным ходом, торопливо отбивала однообразные такты.

Я доложил капитану о высоте барометра и об осмотре ахтерлюка, но он, казалось, не обратил внимания на мой доклад и, не поднимая головы, крикнул:

— Идет ли?

Несколько секунд не было ответа.

— Тронулся! — вдруг прокричал старый штурман. — Идет! — еще веселее крикнул он через секунду.

— Пошел… пошел!.. — раздались с бака радостные голоса.

Капитан торопливо подошел к компасу.

— Самый полный ход вперед! — крикнул он в машину.

Слышно было, как клипер с усилием черкнул по камню и, словно обрадовавшись свободе, вздрогнул всем телом и быстро двинулся вперед,

рассекая темные волны. Грозный бурун над камнем белелся седым пятном за кормой.

Невыразимое ощущение радости и счастия охватило меня. Громкий вздох облегчения пронесся на палубе. И дерзкая, вызывающая улыбка весело играла на лице капитана.

— Лево на борт! — крикнул он рулевым, и клипер, сделав полный оборот, поворотил назад.

— Счастливо отделались! — сказал капитан подошедшему старшему офицеру. — Что, много воды?

— Порядочно… Одну пробоину нашли в носу… Сейчас будем подводить парус…

— Я иду назад! — заметил капитан. — Идти по назначению далеко, да и ветер противный… Как окончите подводку паруса, ставьте все паруса и брамсели.

— Ветер крепчает! — осторожно вставил старший офицер.

— Ничего, пусть гнутся брам-стеньги! Под парами и парусами мы живо добежим до порта и завтра будем в доке. Нас, верно, таки порядочно помяло… Не правда ли? — прибавил капитан.

И, не дождавшись ответа, спросил:

— Кто на вахте?

— Я! — проговорил Литвинов, поднимаясь на мостик.

— Курс SSW… Идти самым полным ходом!

— Есть!

— Ну, теперь пойдемте-ка, Алексей Петрович, посмотрим, какова течь… А ведь крепок «Красавец»! Било его сильно-таки… Сколько мы стояли на камне, Никанор Игнатьич?

— Четыре с половиной минуты-с! — хмуро отвечал старый штурман.

— Довольно времени, чтобы разбиться! — усмехнулся капитан, спускаясь с мостика и исчезая в темноте.

Через полчаса под носовую часть клипера был подведен парус. Все помпы работали, едва успевая откачивать воду, и «Красавец» под парами и всеми парусами несся среди мрака ночи узлов по тринадцати в час, словно раненый зверь, бегущий к логову, чтобы зализать свои раны.